

Максим Горький

Тоска



Максим Горький

Тоска

«Public Domain»

1896

Горький М.

Тоска / М. Горький — «Public Domain», 1896

Впервые напечатано в журнале «Новое слово», 1896, номера 9 и 10, июнь-июль, под заглавием «Тоска (Страничка из жизни одного мельника)». Включалось автором в «Очерки и рассказы», 1898, и во все собрания сочинений. Слово «ли», взятое в прямые скобки, введено в текст редакцией. Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11

I

...Помолившись богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почёсывая спину, подошёл к кровати, наглухо закрытой пёстрым ситцевым пологом.

– Господи, благослови! – прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру жены.

Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:

– Машина!..

Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:

– Сказал ведь я тебе, чёрту: идём спать на сенницу; нет, не пошла! Колода дубовая!

Ну-ка, подвинься малость!

И, ткнув жену кулаком в бок, он улёгся с ней рядом, не покрываясь простынёй, а затем ещё раз крепко толкнул жену локтём. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорчённо вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рождённые луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса нерукотворенного. В раскрытое окно лился из сада, вместе с тихим и тёплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропадал – листва деревьев шумела сильнее, точно испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.

Последив за тенями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевёл глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонёк лампадки; от этого лицо Спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу думающим большую, тяжёлую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.

Где-то прокричал петух.

– Неужели двенадцать уж? – спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий... Ещё и ещё. Наконец где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Чёрный, и весь птичник всполошился, громко возвещая полночь.

– О, черти, – сердито завозился Тихон Павлович, – заснуть не могу... чтоб вам треснуть!

Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, – а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала... Но за эти дни дома всё шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, было нельзя – не с кем и не за что, – все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и – чего раньше с ним никогда не было – чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и ещё больше овладевало им тяжёлое, непонятное чувство, привезённое из города.

Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с весёлыми и синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, – даже этот Кузьма, с которым всегда было за что власть поругаться, стал почтителен и услужлив; песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним всё это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, чёрт, стал!» И, думая так, всё более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал своё настроение постоянным напомина-

нием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всём другом, что вышло у него в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжёлое и тёмное.

– Фу ты, господи! – прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.

В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола.

Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загукала выпь, точно смеясь мрачным смехом.

Тихон Павлович встал, подошёл к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у разорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клёна перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в тёмном, мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:

– Побойся бога, батюшка! Кресло покойник Фёдор Петрович перед самой смертью купил, восемнадцать рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даёшь!..

И покойник Фёдор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохлацкими усами.

– Господи, помилуй! – вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.

За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, тёмную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо движется похоронная процессия.

Ризы священника и дьякона слепят глаза своим блеском; в руках дьякона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.

– Свя-я... – тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.

– ...тый! – громовым басом гудит высокий дьякон в густой шапке чёрных волос.

– Бо-о-же, – сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.

– Бессме-е-ртный! – ревёт дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы, – дребезг пролёток, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника, – ревёт и, широко раскрывая глаза, поворачивает своё бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей:

«Эхва! Как я здорово вывел ноту-то?!»

В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошёл за гробом, поглядывая на дьякона, заинтересовавшего его массивностью

голоса и фигуры. Дьякон шёл и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у дьякона печальных дум о том, что и дьякон подлежит этой натуральной повинности, что придёт время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лёжа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмёт уж в то время ни одной, даже самой лёгкой ноты.

Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на весёлого дьякона; он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста:

– Кого это хоронят, милой?

Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича...

– Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас!

Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!

Он пошёл дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, причём шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших всё сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.

«А покойник-то, видно, лёгонький, – подумал Тихон Павлович, – чиновник, надо думать, – они больше поджарые...»

Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, ещё при жизни успел всем страшно надоест и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.

«Эк их гонят! Куда торопятся? Тоже люди божи! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то и сё, а умер – вали скорее в яму: нам некогда!»

Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж – ему сорок семь лет.

«А это что такое?» – спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы. «Н-да... Значит, персона всё-таки важная. А вот провожатые – оборвыш-народ». – Кого это хоронят? – спросил он поравнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.

– Писателя... – тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: – Сочинителя...

– Понимаем, – быстро откликнулся Тихон Павлович. – «Ниву» выписываем, доченька читала насчёт их. Из важных будут покойные-то?

– Н-нет... Не из важных... – улыбнулся его собеседник.

– Так... Ничего... Всё-таки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне... звезда бо от звезды разнствует во славе... Однако – венки...

У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило – то будто ущипнёт его, то как-то сдавит.

А голосистый дьякон всё пел:

– Свя-тый бессмертный!..

И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу дьяконова баса, робко и тихо просил:

– По-омилуй на-ас...

Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник всё качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.

Тихона Павловича охватило какое-то угнетение – не хотелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смутным настроением толпы, шёл, чувствуя надоедливое нытьё где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынудой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова

принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Дьякон всё усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вот оно – самое главное.

Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошёл к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:

– Господа!..

Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и уставился на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все, кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Павлович плохо понимал то, что говорил этот господин, однако он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, измождённое лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашёл, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнёс:

– Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они, наконец, забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, чёрной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора...

Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себя виноватым и пред покойником, и пред тем человеком, который рассказывал о нём.

Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мёртвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора всё звучал, печальный и задушевный.

Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного, – всех охватывает тоска.

– Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мёртвые. И люди такие, как он, непонятны нам... – слушал Тихон Павлович.

«Верно! – сказал он тогда про себя. – Это так... Разве я не забыл про свою душу?!

Господи!»

Он вздохнул и открыл глаза. Струя тёплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошёл к кровати. Разметавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнажённая грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы задиравшим его. Сердито набросив на тело жены простыню, он взял подушку и, снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на неё и стал думать.

Ему вдруг вспомнилась стая белых голубей, плававшая высоко в небе над кладбищем в памятный день похорон. Он, закрыв глаза, представил себе эти белые точки в голубом небе... и молча упрекнул себя:

«Что, брат, видно, приспичило? Вот и живи теперь... Майся!»

Внеобходимые, беспокойные, тормозящие правильное течение жизни думы шевелились в непривычной к ним голове мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже более тяжёлые. Так в ясный летний день по небу пробежит лёгкий обрывок облака и скроется, растаяв в лучах солнца... но вот ещё один... ещё... ещё... и хмурая грозная туча, насупись и глухо ворча, медленно ползёт над землёй. У мельника от его дум явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше, способность всё подмечать и запоминать и ко всему прилагать вопрос: «А зачем это нужно?»

«Угнетаем мы душу!» – вспомнил мельник восклицание оратора и поёжился.

«Верно – не живёт душа-то. Дела всё – главная причина; о душе-то подумать некогда. А она вдруг и тово... и восстала, значит. Пустой час улучила да и воспряла... Вот те и дела!

И к чему очень уж много делов затевать, коли всё равно умрёшь? Для чего готовим себя, ежели гольём жизнь-то взять? Для смерти... С чем пойдём пред лицо господя? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом... Господи, помилуй!»

Тихон Павлович вздрогнул, перекрестился и посмотрел в угол на лик Спасителя. Тени от лампы всё дрожали на нём, он был строг и, казалось, всё думал свою бошьшую думу. У мельника в груди стало холодно. А вдруг он сейчас вот... или нет, завтра... Вдруг он завтра умрёт! Это бывает с человеком – сразу, без всякой болезни упал да и умер...

– Анна! – громко зовёт Тихон Павлович. – Анна, проснись ты хоть на минутку, ради бога. Человек мучается, а она спит!

Но жена не слышит, подавленная сном. Не дождавшись её ответа, Тихон Павлович встал, оделся и, сопровождаемый её храпом, вышел из комнаты на крыльцо, постоял на нём с минуту и отправился в сад. Уже светало. Восток бледнел, алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонте. Клёны и липы тихонько качали вершинами; роса падала невидимыми глазом каплями; где-то далеко трещал коростель, а за прудом в роще грустно посвистывал скворец. Свежо... И скворцу, должно быть, холодно...

«А и голова у этого барина! Большие у него думы... Вот бы с ним по душе поговорить.

Он бы мне и объяснил, как и что... А разве я сам что могу? Совсем и не к тому у меня голова приспособлена».

Мельник печально поник неприспособленной к большим думам головой и всё-таки продолжал думать:

«Съездить разве мне к учителю в Ямки? Он тоже тово... гвоздь! Поп Алексей говорит, что это он меня пропечатал в газете. Ишь, желторылый аспид!»

Тихон Павлович вспомнил, как ему было стыдно, когда дочь прочитала в газете о его удачной операции с кирюшинскими мужиками, и как она, закрыв лицо газетой, тихонько спросила:

– Папаша, разве это так было?

Он разозлился тогда.

– Разве грабитель отец-то твой? «Так было»! Дура, чему учишься в гимназии-то?

А было-то именно так, как написал учитель. Но – не сознаться же в этом перед дочерью!

Чего она понимает? Теперь он квит с кирюшинскими: когда у него плотину чуть не размыло и они её крепили – половину своего воротили назад: по три целковых за день на рыло содрали с него. Война! Сплошал – и кончено, – крышка тебе. Да... Учитель-то при этом присутствовал.

«Что, говорит, купец, и вас прижали? – И смеётся. Лицо у него сухое, жёлтое, строгое.

– Плохи же вы всё-таки, купец... Жадны, а плоховаты».

Мельник сердится и чувствует – правда! И жаден – правда, и плох – тоже правда.

«Скоро ли, о господи, рассветёт?» – с тоской подумал он. Скоро уж: алая полоса на краю тучи стала и ярче и шире.

Вот где-то разговаривают люди. Мельник подошёл к плетню и лёг на скамью возле него, чувствуя, что ему неможется от бессонницы. А голоса людей всё приближались...

– Не проси, Мотря, не теряй попусту слов – не останусь!

Тихон Павлович вздрогнул и привстал на скамье, опершись на локоть. Говорили близко, за плетнём, в кустах бузины. Это Кузьма Косяк, засыпка, с кем-то.

– Не проси, говорю! Не в моей это силе, чтобы здесь остаться; уйду я за Кубань.

– А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-люблю, вольный ты мой! – отвечало Кузьке низкое женское контральто.

– Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе – повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь – своим глазам веры нет. Да разве это они – те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперёк шляться буду... А на одном месте скучно мне...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.